



БАРОН И РАК

Андрей Бинев

Андрей БИНЕВ

Барон и Рак

«Автор»

Бинев А.

Барон и Рак / А. Бинев — «Автор»,

«Такого этот огромный дом еще не видел. Косматый, грязный, пожилой мужик в растоптанных рваных ботинках без шнурков низко склонился над остывшей кастрюлей с пельменями и вылавливал их, холодных и скользких, огромными руками с кривыми траурными ногтями. Он громко чавкал и сопел носом, похожим на сизый картофельный клубень. По нечесаной бородине стекали искрящиеся капельки бульона, словно бисер обсыпался из его почти беззубой пасти...»

© Бинев А.

© Автор

Андрей Бинев

Барон и Рак

V.N., following to him

Человек – причина.

Дела его – повод.

Такого этот огромный дом еще не видел.

Косматый, грязный, пожилой мужик в растоптанных рваных ботинках без шнурков низко склонился над остывшей кастрюлей с пельменями и вылавливал их, холодных и скользких, огромными руками с кривыми траурными ногтями. Он громко чавкал и сопел носом, похожим на сизый картофельный клубень. По нечесаной бородине стекали искрящиеся капельки бульона, словно бисер обсыпался из его почти беззубой пасти.

Мужик покосился на дверь и увидел, что там возмущенно замер старик в белом, как снег, фартуке. Он был щуплым, а животик у него круглым и аккуратным, будто пришитым под узкой грудью.

– Я щаз, щаз... – пробасил мужик, заталкивая в рот рукой сразу два аккуратно скрученных холодных мелких пельменя, – Голодно, дед! Три дня не жрал...

– Ты, как здесь, сволочь! – только и молвил старик и швырнул на кафельный пол полотенце, которое держал в руке, когда заглянул на шум в кухню.

– погоди, отец! Христом богом прошу! Я это..., быстро щаз... и пошел... – грузный бородатый мужик ещё ниже склонился над кастрюлей и торопливо зачерпнул несколько скользких пельменей, видимо прямо со дна.

Один пельмень сноровисто вывернулся было из его грубых пальцев, но мужик оказался проворнее – он подхватил его ладонью другой руки и тут же заправил и в без того набитый пельменями рот.

Старик вдруг пружинно подпрыгнул на месте и заверещал срывающимся голосом:

– Охрана, мать вашу! Охрана!

– Чего орешь, дед! – мужик отпрянул от огромной, как дом, плиты с кастрюлями и замахал рукой, – Я того..., пошел уже... Ну, похавал маленько... Говорю же, не жрал три дня... Да не ори ты! Я тебе, если хочешь, потаскаю чего-нибудь... Дров нарублю...

– Какие дрова, гад! – старик продолжал кипеть от возмущения, раскаляясь всё больше. Однако приблизиться к грязному, бородатому мужику явно опасался. Он, чуть приседая и суча ногами, отступил в серую тень коридора за дверь.

Теперь был виден только его кругленький животик, и не успевшая исчезнуть вслед за телом нога в клетчатой штанине и в синем тапке с задником.

– Охрана! – еще громче заорал старик и тут же влетел в кухню обратно. Его туда грубо втолкнули двое крепких мужчин в темных костюмах, при узких галстуках, в свежих белых рубашках и с прозрачными трубочками, тянувшимися к уху от компактных радиостанций во внутренних карманах.

Мужчины были высокими, коротко стриженными, широкоплечими, с одинаковыми серыми ненавидящими глазами. Один из них – явно старше второго. К его аккуратно стриженным вискам уже прикипело легкое серебро.

– Стоять, сука! – крикнул тот, что помладше, и мужик увидел, как в его руке мгновенно засиял длинноствольный, изящный, как юный красавец, серебристый пистолет.

Он сделал два быстрых шага к бородатому мужику, но второй, старший, с кривой усмешкой крикнул ему:

– Э! Не трожь! Он вшивый, должно быть!

Тот, что был с пистолетом, замер и растерянно посмотрел на товарища.

– Слышь ты..., обезьяна! – строго произнес старший, – На пол опустился. Быстро! На четыре точки! Не понял, что ли! Сейчас башку проковыряем...

Бородатый, оказавшийся ничуть не меньше ростом, чем оба мужчины, обтер тыльной стороны руки сильно щербатый рот и согласно кивнул.

Он неспеша присел и уперся руками в кафельный пол, словно спортсмен на низком старте. Оба мужчины тут же расступились и теперь у обоих в руках были пистолеты, только у второго, старшего, оружие было больше, тяжелее, и цвета – черного.

– Падай на кафель, сука! Лежать, не шевелиться, мразь!

Мужик, кряхтя, растянулся на холодном полу, вытянув вперед грязные, полные руки. Мужчины с брезгливостью посмотрели на эти огромные, словно, звериные лапы, на нечесанный затылок, на ноги, похожие на два покосившихся столба (на них были грязные, серые брюки), на широкую спину в сильно потертой куртке стального цвета.

– Тварь! – не выдержал один из них, старший, сплюнул на пол, но тут же сконфуженно посмотрел на деда, вздрогнувшего от плевка, и виновато растер влажный след носком черного, идеально вычищенного полуботинка.

– Извини, Карлыч, душа не вынесла! – буркнул он.

– Извини, извини! – вновь возмущился оживший дед, – Один жрет прямо из кастрюли, другой на пол харкает..., как деревня какая! А потом – извини, понимаешь! А Карлыч должен за вами, за дармоедами, пол драить!

– Да ладно тебе «драить»! – смущенно хохотнул второй мужчина, поигрывая серебристым пистолетом в руке, – Вон Саид твой, таджик, с утра до ночи трет, трет...

– Много ты знаешь, остолоп! – взвинтился дед, брызгая слюной и даже чуть подпрыгивая на месте, – А этого кабана кто сюда впустил?! Теперь дезинфекцию делай... Что Барон-то скажет!

Тот, что был с серебристым пистолетом, обескуражено потер им переносицу и тяжело выдохнул.

– Теперь вздыхаешь!

– Давай, мы ему навалием для порядка, – предложил старший мужчина, – Чтоб дорогу сюда забыл... А Барон, он чего! У хозяина своих дел выше крыши... Этот что сожрал?

– Пельмени дожрал..., вчерашние... Да не в пельменях дело-то! – дед опять точно взъерошился, – Кастрюлю, мразь, загадил..., натоптал тут, вы на пол нахаркали, как свиньи какие..., а этот еще разлегся тут, гад, воняет... А если хозяин, говорю, узнает! Башки оторвет нараз!

Лохматый мужик продолжал неподвижно лежать лицом вниз на кафеле, лишь время от времени негромко вздыхая. Он осторожно, не поворачивая головы, косился на две пары начищенных черных полуботинок, которые находились в метре от него. Он понимал, что вскочить и бежать было невозможно, пуля догонит и уложит здесь навечно. Перспектива была, конечно, унылая, но не смертельная, как он полагал, если будет вот так лежать без движения и лишь слегка досаждать им своим запахом и видом. То, что наломают бока, так это не вновь для него. И хуже бывало! Однажды, между двумя последними сроками, ему в больнице зашивали бедро, сращивали кости, потом хромал полгода. Вот тогда действительно схлопотал! Поймали в джипе, ночевал в нем. А не ночевал бы, точно бы замерз! Подъезды заперты, подвалы за решетками, а мороз под тридцать! Попробуй обогрейся! Отпер машину он легко. Она от мороза даже не вякнула, сковало всю, аккумулятор, видимо, сдох. Так, выдохнула слегка и забылась. Зато в ней коврик был, подушка-думочка, куртка чья-то на пуху. Перекаптался как-то до утра. А утром его приняли менты. Одного из них оказался этот джип. Начальника какого-то. Тоже про дезинфекцию говорили. Доставили в контору, обогрели палками, к собакам кинули. Те порвали бедро, живот... Кто трещину ему сделал..., так это не собаки. Нет,

собаки, но не те, не природные. Потом выкинули на мороз, подальше отвезли. К больнице, под забор. Вот это было тяжело! Латали, шили, резали, железки какие-то загоняли под мясо! А сейчас чего! За пельмени-то? Ну, навалиют, ну, дадут пендаля... На улице весна, не мороз, как тогда! Прорвемся! А собаки его уже не раз терзали, только за ними почти всегда стояли люди.

Он размышлял так, лежа на полу и стараясь не шевелиться, чтобы не нервировать охрану, на которых были эти две пары черных, лаковых полуботинок.

Мужик понимал, что таких не разжалобишь, как и всяких других. Во всяком случае, не ему, грязному, небритому оборванцу следует рассчитывать на сочувствие и понимание. Такую ничемную жизнь он сам себе уже очень давно устроил. Конструкция оказалась на удивление живучей, крепкой, не поддавалась никаким изменениям. На ней висело грязной тряпкой его сильное когда-то тело, давным-давно забытое им прошлое, холодное и голодное настоящее и никакое, ни даже самое скромное, будущее.

Он уже и не считал нужным помнить свои имя, отчество, фамилию. Кличка «Рак». За то, что по всякому случаю приговаривал: «раком всех итить...». Вот и привязалось – «Рак». Может быть еще и потому, что фамилия у него была как раз такая – Раков. Виктор Васильевич Раков. Но он знал, что кличка не оттуда. Те, кто дали, вряд ли знали его фамилию, а кто знал, с ним и словом не перебросились. К чему разговаривать с грязным зверем?

Барон был человеком постоянным. Он всегда считал, что человек, как личность, начинается еще в утробе матери и заканчивается лишь в земле, а между этим главное – быть твердым, непреклонным. Если не следовать этому единственному жизненному принципу, то не нужно было и появляться на свет. Впрочем, вся человеческая мякоть тоже имеет место в жизни, но для того, чтобы избранные люди, а их не так уж и много, имели возможность эту мякоть употребить по ее значению, времени и месту появления.

Барон не был бароном. То есть он им был, но не по рождению, не по званию и не по генетике. Его отец служил в милиции, добрал до подполковника и ушел из жизни в год, когда должен был получить свою скромную милицейскую пенсию. Выпили на службе, как обычно, лишнего, а утром остановилось сердце. Побледнел, посинел и испустил дух. Дело было в прихожей, когда он нагнулся, чтобы повязать шнурки на черной форменной обуви. Служил он и в ГАИ инспектором, и начальником там же, и замполитом в медицинском вытрезвителе после какого-то скандала с перепроданными угнанными машинами, и начальником отдела профилактики в городском подмосковном УВД, и вневедомственной охраной там же поруководил. Словом, жил, как мог и как велели.

Мать работала до самой пенсии бухгалтером в строительном тресте. Братьев и сестер не было. Учился он сначала очень средненько, а потом даже заметно преуспел в точных дисциплинах. Писал грамотно, читал только то, что рекомендовано школьной программой, но время от времени все же позволял себе и некоторые отступления от нее. Исключительно для того, чтобы не выбиваться в дурную сторону от успешных одноклассников.

Таким же образом он относился и к своим музыкальным предпочтениям. Ему нравились старые советские песни, похожие на маленькие, непритязательные поэмы о том или ином эпическом или очень частном событии. В них содержался милый приключенческий уют, даже если речь заходила о том, что когда-то потрясло мир до самого его основания.

Он не любил, но мирился с триумфальными музыкальными сочинениями, звучащими как грандиозные речевые кантаты на официальных государственных мероприятиях. К словам добавлялась тяжелая, часто примитивная, но якобы жизнеутверждающая, музыка. В ней звучала упрямая гордость, вселенская угроза, стоическая неотступность, что его настораживало и даже, когда он был еще очень мал, страшно пугало.

Тайком, как и все в его подростковом возрасте, он слушал на катушечном магнитофоне писанные-переписанные, шипящие, хриплые западные композиции. Он в них почти не разби-

рался, не мог узнать ни по голосам, ни по манере исполнения, но накрепко заучил названия групп и исполнителей – The Beatles, Deep Purple, Nazareth, Uriah Heep, Pink Floyd, а еще Элвис Пресли и Луис Армстронг. Были и другие группы и исполнители, но с его дурным слухом все, что они делали, звучало для него как утомляющая какофония. Однако же он никогда бы не сознался в этом своим сверстникам, увлеченным этой особой западной культурой так, словно, кроме нее в жизни ничего не было, нет и никогда уже не будет. Он осознавал, что рано или поздно их пути разойдутся, и они даже станут принципиальными противниками. Время, тем не менее, еще не пришло. Нужно было мимикрировать под общий фон, чтобы его не растоптали, не выкинули вон из общей жизни и вообще не посчитали бы тупицей.

Он раз или два в год бывал в театрах с классом, в основном, на пьесах классических драматургов, скучал, молча смотрел на сцену, ничего не понимал, но уходил домой потом с неприятным чувством выполненного долга. Больше всего ему нравились, как и многим одноклассникам, театральные буфеты в антрактах, в которых все расхватывали тюбики со сгущенным молоком, сладенький лимонад «Буратино» и конфеты «Мишка на Севере». А еще бутерброды с сухой колбасой или даже с красной икрой.

Раз пять его водили в цирк, на аттракционы в парк, на какие-то утренники после празднования Нового Года. Но это он не любил, как и каникулы в пионерских лагерях. Слишком шумно и рискованно.

Особую ненависть и даже страх у него вызывали уроки физкультуры в школе. Хрупкое телосложение, небольшой рост, неловкость, угловатость в движениях делало его совершенно беспомощным. Он пользовался каждым случаем, чтобы получить медицинскую справку о невозможности переносить физические нагрузки, и это несмотря на то, что никогда не болел. Стоять почти в самом конце строя на занятиях, переносить злые насмешки одноклассников, когда не мог правильно принять мяч, подтянуться на турнике, преодолеть тупую, упрямую и мертвую массу растопыренного «козла», выдержать длинную беговую дистанцию и не взять высоту – было для него глубоко оскорбительно. Но он был умен и терпелив. Он только сжимал тонко очерченные губы, отчаянно потел и ждал своего часа, того самого, когда можно будет нанять тех, кто легко брал любую натуральную высоту, подтягивался, бегал, прыгал и метко бросал или пинал мяч. Он верил, что этот час непременно наступит, и вот тогда посмотрим, кто кого, и какое именно место достанется ему в общем строю.

Родственников у семьи почти не было. Родители родителей ушли из жизни задолго до его рождения, а с остальной родней семья никаких отношений не поддерживала.

Бароном Барона назвали уже позже, а до того он был просто Георгием Барановым. Вот Баранов и стал бароном. Стал просто – когда многое изменилось в стране, он нашел отцовскую сильно постаревшую любовницу, тетю Валу, которая так и вкалывала в паспортном столе в райотделе, сделал ей дорогой подарок и вот в паспорте одна буква «а» была ловко заменена на букву «о». Баранов стал Бароновым. Иными словами, Барон. Никто, или почти никто, уже не помнил, какая была фамилия его отца, матери, да и его самого до двадцати с небольшим лет. Георгий Иванович Баронов. Звучит!

Жорка Баран, как его звали во дворе и в школе! Ну, что это такое! Мерзость.

Георгий Иванович усвоил не только новую фамилию, но и новый образ жизни, новые правила, новые принципы. Но самым главным в нем было то, что он и не считал всё это новым. Просто немного запоздалым, даже почти в меру выдержанным.

Жора всегда был сообразительным и прозорливым пареньком. Раньше даже очень многих хитрющих партийных проныр он разглядел в коммунистических отступниках и реформаторах могильщиков и без того разлагающегося массивного тела «бессмертной» идеи. Призрак, бродивший по Европе аж с девятнадцатого столетия, оказался вполне материальным существом, которому свойственен как расцвет, так и угасание.

Барон окончил строительный институт, но на стройку идти не пожелал. Еще на факультете вступил в компартию, из которой кое-кто уже тайно ладился слинять подальше, занялся общественной комсомольской работой и тихо стал двигаться в сторону, далекую от всякой инженерии – управления людьми. Тогда еще это «политическим менеджментом» никто не называл. Когда он оканчивал институт, многие, теряя голову, бросились в дичайшую по тем временам коммерцию, а он предпочел осторожно переместиться туда, откуда непредусмотрительные и трусливые бежали, словно крысы с тонущего корабля. Он стал сначала инструктором, а потом заведующим отделом в ЦК московского комсомола. Там он проловчил три с половиной года, а затем выхлопотал назначение в МГК партии, в ближайшие помощники к новому Первому секретарю, к эпатажному, скандальному и brutальному политику.

Тут как раз подспели все эти роковые исторические инновации, общая бестолковость и непредсказуемость, нервное, злое веселье, разруха и развал. На все на это, и прежде всего, на сказочное национальное богатство, насаженное на покосившиеся крыши нищих лачуг и на ничейные, казалось бы, шпили царских дворцов, заявили свои вечные права те, кто и разорял эту страну, и грабил ее, и унижал, и карал десятки лет подряд. Жорка Баран бы ничего не сумел сделать, ни кусочка бы не отхватил, а вот новоиспеченный Жора Барон своего не упустил. Он всегда знал, кому пристроиться в хвост, а кого лягнуть покрепче.

Партийный билет он не бросал к порогу нового наглого времени, а тихо спрятал в потайном ящичке своего личного домашнего секретера. Негромко, без излишней позы, но столь же решительно, как и те, кто делали это демонстративно.

Свой личный бизнес он начал со срочной скупки так называемых ваучеров и с их благополучного размещения в персональных золотых резервациях крупных спекулянтов, ловких провинциальных выскочек из обкомовских и исполкомовских кабинетов, новых уголовных главарей, не ведающих чувства пощады, неутомимых, деятельных и терпеливых выходцев из специальных служб, красного директората военно-промышленных корпораций и лукавых проныр из высоких государственных кабинетов. Одним словом, тех, кто всегда был близок к богатству и готов был делить его в более или менее равной степени друг с другом, но никак не с остолбеневшим от этого скорого грабежа населением страны.

Потом ваучеры все вдруг забыли, удачно обратив их в золотые пакеты акций. Несколько таких увесистых пачек попало в руки Жоры Барона. С кем-то он делился, кого-то вознаграждал, у кого-то отнимал и вновь делился. Он очень быстро доказал, что умеет, как никто другой, балансировать между невозможным и недопустимым, добиваясь, чтобы это всё во всеулышание нарекли законным и цивилизованным, чтобы покрепче жмурились, когда получалось что-то чудовищное, и смотрели бы широко распахнутыми честнейшими глазами, когда большая государственная афера, наконец, удалась, а дерзкие аферисты получили роскошные сановные кабинеты, поставили под надежную охрану свои новые, а заодно и не утраченные старые права, и подмяли, наконец, под собственные тяжелые зады народы и законы вместе с судами, прокуратурой и полицией.

Один кровавый век ушел, пришел другой, еще более жестокий, технократичный и, главное, холодный.

Тогда окончательно и бесповоротно утвердилась в практике собственная неуязвимая философия Барона, о которой, пожалуй, чуть позже.

Деловая активность Георгия Ивановича, хоть и основывалась, казалось бы, на рыночных, а, значит, в большей степени, на либеральных экономических принципах, все же тяготела к личной диктатуре, а некоторые считали, что даже к известному восточному деспотизму. Либеральность располагалась на ее внешней периферии, а деспотизм составлял ее непоколебимое идейное ядро.

Из этого постепенно складывалась его общественная репутация, которая в тот день, когда судьбе было угодно свести его с Раком, уже превратилась почти в гранитный монумент, видный

со всех сторон и многими консервативно мыслящими людьми искренне почитаемый. О таких говорят с восхищением – политический тяжеловес, иной раз, забывая, что сбит он все же не столько из камня, сколько из чистого золота, происхождение которого для его убежденных оппонентов весьма сомнительно.

С самого начала нового времени, в котором он видел эволюционное развитие старого, Георгий Иванович окружал себя выгодными связями, властными и столь же авторитарными, как и он, фигурами, и, будучи в одной с ними когорте, вырывал у прошлого из глотки то, что, по его убеждению, должно было служить только силе и могуществу избранных, к которым он себя и всего несколько сотен человек в стране искренне причислял.

После того, как Барон решительно поставил свою государственную управленческую деятельность на службу собственному бизнесу, он весьма удачно попробовал себя в самых разных областях. Тут были и банки, и акции крупных предприятий, и торговля вооружением, и открытие торговых моллов, гипермаркетов, логистических компаний, строительство жилых микрорайонов, бизнес-центров и двух спортивных комплексов со стадионами, плавательными бассейнами, развлекательными предприятиями и кинозалами. В последние годы он активно скупал земли и леса, пользуясь экспертными оценками видных ученых, экономистов и политиков. Нередко эти участки закладывались в банки под солидные кредиты и точно в срок выкупались с уплатой оговоренных процентов. Он был надежным партнером.

Деньги он часто брал и у таких же, как он, предприимчивых избранников судьбы, с ними же впоследствии делился, выделяя вознаграждение в точных пределах их персональной значимости.

Брал – это просто так говорилось, чтобы не уточнять подробностей. На самом деле, отнимал, потому что очень долго был при власти и от него зависело многое, а, порой, для кого-то даже и всё. Он принципиально не принимал на свой счет такой унижительный юридический термин, как взятка, считая ее просто бизнесом с обоюдными интересами. Ведь все равно кому-то надо дать, так почему же не тому, от кого будет наибольшая польза обеим сторонам!

Он ведь и сам давал, куда следует. Не только брал.

Барон с усмешкой называл это «круговоротом энергетического вещества в малом круге».

Он весьма предусмотрительно финансировал две скандальные националистические партии, в свою очередь презиравших друг друга, и одну очень важную, массовую, постоянно цепляющуюся за несущие конструкции высшей власти. Барон платил тайные зарплаты десятку парламентариев, как своему постоянному лобби, размещал средства самых крупных чиновников на надежных зарубежных счетах, приобретал для них недвижимость и доходный бизнес. Ведь он лично, по собственному опыту, знал, что такое быть чиновником на зарплате и как необыкновенно больно видеть, что огромные денежные массы свободных бизнесменов стремятся без следа перелететь через головы государственников и управленцев.

Он входил в правления трех крупнейших банков, а в одном из них даже долго возглавлял Совет Директоров, пока там не случился какой-то скандал и он не предпочел сдать на время свои позиции. Но Барон знал, что все вернется к нему, все станет на свои законные, с его точки зрения, места, как, собственно, всегда и бывало.

Он принципиально не имел собственного самолетного парка и морского флота в виде баснословно дорогих яхт, считая это, во-первых, не своим делом, а, во-вторых, отвратительной нуворишной пошлостью. Барон держал солидные пакеты акций в одной крупной совместной авиационной и в двух транснациональных фрахтовых компаниях. Этого ему было более чем достаточно.

Георгий Иванович был вхож к президенту – дважды в год официально на совещания так называемых «капитанов бизнеса» и, бог знает сколько раз, тайно.

Он привычно советовал советникам нового президента и премьера, да советовал так, что от этих советов открутиться было сложно или даже не хотелось. Ведь у него у самого был

известный опыт управления системой, а многие назначения, к тому же, происходили не без его участия, а часто даже и с его условиями. По его советам, урезалось у одних и давалось другим, успокаивалось в одном месте и взрывалось кровью и мясом в другом. Он ломал и сращивал чужие кости, сдирал чужую шкуру и наращивал новую. Он по-прежнему был одним из хирургов своего времени, без которого не было бы привычной ему жизни, а если бы и была какая-нибудь, то совсем, совсем другая. Возможно, тогда она бы ему не понравилась.

Барон был необходим! Золотые мушки, и новые, и старые, коих он знал по общим когда-то с ними коридорам и кабинетам, так запутались в его золоченной паутине, что уже и не представляли себе существования вне ее.

Он был, по-своему, начитанным человеком. Но в его огромной личной библиотеке, расположенной в каминном зале основной его резиденции в Подмоскowie, покоились и такие книги, которые он держал лишь для массы, а не для чтения.

Что же касается внимательного, пристального изучения, а порой даже с красным карандашом, то это были серьезные исторические обзоры, монографии и некоторые весьма специфические художественные произведения, подтверждавшие его личные взгляды на социальную философию и убеждавшие его, в очередной раз, в том, что русская история насквозь пронизана враждебной ей мифологией. Мифы эти рождали и растили враги России, в чем он был свято убежден.

Доходило до того, что Георгий Иванович лично и довольно щедро оплачивал издание такого рода книг, которые вызывали восторг у тайных и явных адептов государственной пропаганды, и в то же время возмущали профессиональных историков, этих недалеких, как он полагал, ученых червей, почему-то убежденных в том, что история, как всякая наука, должна опираться на подтвержденные факты. То есть иметь свои научные параметры, а не выполнять сиюминутные политические задачи. Барон был уверен, что эти «черви» либо враги, либо дураки.

Георгий Иванович содержал исследовательский институт, долгие годы собиравший огромный секретный и научный архив из всех политических и военно-промышленных сфер жизни. Он оплачивал неутомимую экспертную работу института в государственных и полугосударственных телекомпаниях и на радио. Через некоторых вполне надежных, всегда проверенных, а часто даже попросту зависимых, младших партнеров скупал акции коммерческих станций и создавал медийные группы, мощности которых перетекали из одного технического пространства в другое, но всегда служили его политическим интересам и соответствовали его нравственным убеждениям.

Из литературных классиков он ценил одного лишь Достоевского, а Толстого, Тургенева, Бунина и Набокова осторожно, ни в коем случае, не прилюдно, презирал за мягкотелость, которую сам же и определял, за чуждую ему позицию, за не принимаемый им гуманистический, нерусский, по его мнению, принцип, свойственный им всем в разной степени.

Был еще один крупный, большой писатель, вызывавший у Барона весьма противоречивые, даже мучительные, чувства. Но об это потом, потом..., если получится, если так сложится день.

А вот Пастернака (хотя и прочитал его прозу весьма внимательно), Платонова, Булгакова, Зощенко, Олешу, Гроссмана просто не мог терпеть. Читал кое-кого из них еще в молодости и с раздражением швырял книжки в стену. Но не читать не смел, иначе, вылетит из времени, в котором начинал жить.

Из поздних, почти с тем же чувством, почему-то особенно выделял Давлатова. Последний его, иной раз, правда, забавлял, но и сердил. Когда он узнал о его смерти (тогда Барон еще сам лишь начинал свой деловой путь), то криво, даже как-то мстительно, усмехнулся, точно и сам имел к этому отношение. Современных же либеральных писателей не читал и книг их у себя не держал принципиально.

Приблизительно также он относился и к кинематографу, выделяя для себя в особую категорию лишь советское классическое кино. Часто он предпочитал литературной основе, например, Шолохову или Алексею Толстому, их блестящие экранизации. Такое же исключение он допускал и для Льва Толстого.

К поэтам он относился, как к шутам, любящим покривляться в бессмысленной ритмичной словесной пляске на радость недалекой эпатажной публике и всякого рода снобов с необоснованными претензиями. Тут для него не было ни исключений, ни авторитетов даже в классическом прошлом и, тем более, в настоящем.

Барон не причислял себя к тем, кто оценивает быт, характер и творчество нерусских народов скептически, то есть по раздражающему национальному или религиозному признаку. Он очень этим кичился, да так явно, что в головы тех, кто знал его близко, нет, нет, да и закрадывалась неприятная мыслишка, уж не скрывает ли он за показной толерантностью свой избыточный шовинизм. Однако официального подтверждения этого ни в его словах, ни в его известных предпочтениях найти было нельзя.

Что же касается такого важного и все более массового общественного явления как Интернет, социальные сети и прочие инновации, то Георгий Иванович мнения своего никогда не высказывал, относясь к этому, как к малоприятной данности времени, которую должны обуздать в его интересах многочисленные секретари и нанятые им высоколобые аналитики.

Мобильные телефоны и всякого рода современные системы связи использовались им лично исключительно в прагматичных и, в этом смысле, в бесспорных целях, то есть крайне дозировано и вынужденно.

Георгий Иванович знал, что с него не спускают внимательных, завидующих, глаз, и любая ошибка или проявление обычной человеческой слабости могут ему очень дорого обойтись. Это добавляло остроты, азарта и даже, в определенном смысле, цельности в его жизни. Он всегда был настороже, видя дальше, выше и глубже других. Личных врагов у него не было, как он сам говорил. Никто бы никогда на это просто не решился. Но зато были враги, с его же слов, «системного» характера, то есть деятельные и сильные конкуренты на финансовом, экономическом и политическом полях боя.

К тому же он исповедовал особую философию жизни, о которой самое время кое-что сказать.

Георгий Иванович Баронов по прозвищу Барон был свято убежден, что человек создан по образу и подобию божьему, но вот бога он видел совсем иным, нежели его видели другие, во всяком случае, те, кто искренне исповедовал веру. Он был по своим взглядам, своего рода, экуменистом, если распространить это понятие за пределы христианства и накинуть его на все существующие верования, религиозные и светские философии. Иными словами, для Барона бог был един, всесилен и справедлив. Но вот, что именно, по мнению Георгия Ивановича, представляла собой справедливость, щедро излучаемая богом и навеянная людям, независимо от того, каким они его видят и видят ли вообще, и есть главная характеристика Барона. Он твердо знал одно – у бога есть свои инструменты, далекие от тех, какие полагают люди. Это – не случай, не судьба, не раскаяние или что-либо из области человеческой трусости в зависимости от обстоятельств, и не вера, пусть даже она будет испепеляющей, искренней, отчаянной. Это, прежде всего – человек! Но человек, далеко не всякий, а лишь тот, кто избран богом как исполнитель его воли, носитель его справедливости и гарант ее неотвратимости.

Он твердо знал, что нет случайных диктаторов и случайных убийц, нет случайных жертв и случайных мучеников. Всё предопределено богом и передано в жестокие и неукротимые руки особых избранников, хранящих саму сущность милосердия, кары или прощения.

Кому-то, возможно, бог, почитаемый Бароном, напоминал сатану. Но Барон, если бы ввязался в спор (что само по себе не достойно его), скорее всего, ответил бы, что бог, или, если хотите, Господь, чьи пути неисповедимы, не нуждается ни в ангелах, ни в сатане. Он так все-

могущ, благодаря своим немногим избранникам и всемогущим вершителям святой корпоративной воли, что вполне в состоянии их крепкими, безжалостными руками взрастить на земле рай или сгустить ад. Его избранники способны заменить и светлых ангелов, и черного сатану.

В этом нет ничего потустороннего, ничего противоестественного; это и есть жизнь в ее единственном земном выражении.

Барон не был помешанным кликушей, не считал себя носителем святой веры, не увлекался идейным или безыдейным мракобесием, не держал у себя на видных местах икон, не посещал храмов, за исключением тех случаев, когда это было обязательно для отправления не столько религиозного культа, сколько светского. Он не читал Библии, не внимал проповедям. Более того, он вообще не веровал в того Бога, в которого по наивности своей веровали другие.

Именно так. Не веровал. Это неверие и было его верой, что со стороны может показаться абсурдом. Но это вовсе не абсурд, а прагматичный подход к проблемам официальной идеологии, приносящей либо пользу, либо вред ее держателям. Бог, на его холодный, взвешенный взгляд, являет собой высший лик исключительно земного возмездия, орудием которого в числе немногих избран судьбой и он – Георгий Иванович Баронов.

Не будь он экуменистом в самом широком, в самом охватном, светском, смысле этого понятия, его можно было бы заподозрить в опасной религиозной паранойе, то есть в сумасшествии.

Мир, по его мнению, состоял из вершины, крутых склонов и болотистой низины. Вершина сама назначала бога, карала и миловала от его имени. Всё стекало в упомянутую низину. А больше ведь и некуда!

На крутых склонах держатся до поры до времени и периферийные общественные силы, назначаемые вершиной, порой, на роль так называемых «сакральных жертв». Они могут об этом знать, но могут и не знать. Их административные владыки сидят в ряду других небожителей на самой вершине, пока это нужно.

Земной бог, избранный Избранниками – вот его икона и его убежденность в том, что только так может удержаться массивная пирамида, называемая жизнью. Нет Бога без Избранников, как нет Избранников без назначаемого ими Бога. Что это как не освященная гарантия взаимного сохранения!

Вот это и содержало в себе ту самую бесспорную прагматику его веры. Остальное он считал одуряющим опиумным дымом, выкуриваемым из главного пропагандистского кальяна. Большая и малая ложь, как и рутинная подмена нравственных понятий, есть всего лишь вынужденная оперативная комбинация во имя сохранения главного. А главным ведь как раз и является устойчивость той самой жизненной пирамиды.

Именно по этой причине он и полагал, что новых принципов и новых правил не существует. Они также едины и также неизменны, как и назначаемый на веки вечные единый Бог и Судья. «Веки вечные» – тоже вполне условное понятие, но пусть уж оно живет, пока жив и полезен тот же земной бог и судья. А дальше, поглядим! Схема принципиально останется та же, да только сменяются лики, если понадобится.

Барон никогда специально не вдавался в философию и всего этого себе не объяснял, потому что считал всякие подобные рассуждения пустой тратой времени. Но оно жило в нем – в каждом его движении, парило в его дыхании.

Логика жизни в ее преемственности, а не в отрицании предыдущего. Преемственность не требует ни обсуждения, ни осуждения предшествующего. Потому всякое вольнодумство на этот счет должно выжигаться, как нарушение холодной логики событий. Безжалостно и безвозвратно. Нет плохих времен, есть просто времена. Нет хороших времен по той же самой причине. Любой протест – смертельно опасен, любая оценка – враждебна.

В войне с этим применимо абсолютно всё! Включая жертвы назначенных общественных сил и персонифицированных исполнителей воли вершины. Как это назвать, как обосновать,

уже дело десятое. Количество жертв тоже не имеет значения, даже если они сами об этом не знают. Это может быть один человек, а может быть и толпа.

Вот такая вера неверия, вот такая трудная, тайная философия была у Георгия Ивановича Баронова, урожденного Баранова, по прозвищу Барон. У него всегда были влиятельные единомышленники, притягиваемые центроостремительной силой к «божественному» ядру.

В доме Барона было много челяди, каждый из которых знал свое место. Теории Барона им были неизвестны, но практика существования в том жизненном пространстве уж если принималась прислугой, то до самого ее исчерпания, то есть до конца. Иначе – вон!

Барон наблюдал за этим очень внимательно и постепенно пришел к выводу, что таково свойство народов, проживавших на всей территории страны и даже некоторых других стран, близких ли, далеких ли от его родины. Он считал, что любое отступление от правил, любая либеральность способна разрушить основу. Поэтому должно выжигаться немедленно, жестоко и показательно.

Либеральная мысль, на его взгляд, отдает разложением, потому что она априори не чтит авторитетов. Авторитет же ограничивает чрезмерную свободу. Что касается либерала, то он как раз приверженец этой свободы.

Авторитет – несомненный праведник, принятый без всяких условий толпой. Значит, либеральная мысль не признает и не почитает праведников. Это одно из немногих, что Барон позволил себе однажды высказать в каком-то интервью на телевидении. Он не любил медийной суеты, зная ей цену, но тут его что-то ухватило за живое. Кажется, это было в преддверии очередных президентских выборов, когда кто-то из упрямейших либеральных оппозиционеров позволил себе дать неосторожную и крайне неуважительную им оценку. Барон тогда, как, собственно, и прежде, принимал самое деятельное участие в финансировании кампании, а тут такое взбесившее его вольнодумство. Ни копейки ведь не дали, а пасти разинули так, словно их слово последнее. Тогда он и высказался о праведниках и авторитетах. Довольно горячо, вопреки его привычкам, высказался.

Барон ни разу не был женат. К нему возили девок, сначала всяких, лишь бы веселых и умелых, непременно здоровых и сладострастных, потом уж с выбором – чтобы выглядели прилично, чтобы были престижными и завидными даже для светских эстетов, и ни в коем случае не гламурными дурами. Такие женщины иной раз задерживались у него надолго. Затем их щедро одаривали и ссаживали с бароновой персональной кареты по пути к следующим.

Совсем молоденьких Барон не любил. Стеснялся, что ли? И старых не любил. Их он тоже стеснялся. От тридцати двух до сорока пяти. Такой у него был вкус и выбор.

Но сковать себя браком, окружить детьми, родней, чтобы потом с них глаз не спускать, бояться измены, отравлений, предательств! Вот уж нет! Наделать глупостей никогда не поздно, говорил Барон, а вот исправить их может и жизни не хватить.

Совсем другое дело был Виктор Васильевич Раков, по кличке Рак.

Виктор Васильевич вообще никаких философий не исповедовал. У него все было просто – человек родился случайно, жил, как Бог на душу положит и умрет, как Сатана велит. Собственно, это и было его верой, которую он словами никак не определял и даже в мыслях ни разу за всю свою пятидесятилетнюю жизнь не подвергал анализу.

С Бароном Рака роднили две независимые от них обоих вещи – оба родились особями мужского пола, да еще в один и тот же год.

Отца своего Рак не знал, а мать всегда была занята тем, что всю жизнь пыталась связать воедино два обтрепанных нитяных конца: один из них – это нищета, а другой – случайные мужчины, беспросветно пьющие и по-звериному грубые. Были еще у Витьки Ракова два старших брата и младшая сестра, отцами которых и числились весьма условно, на словах, эти самые

случайные мужские особи. Причем, в метриках всех, включая Рака, на месте, где должен быть записан отец, зиял, как гулкий кривой провал, жирный размашистый прочерк.

Рак учился в средней школе не то, что плохо, а очень и очень плохо. За всю свою, полную греха, жизнь он прочитал одну тонюсенькую книжку о Ленине, зачем-то шедшем в мороз по льду Финского залива, и написал не более двух страниц текста (в основном, в анкетах и в коротких приписках к протоколам его допросов о том, что «прочитано и верно»). Может быть, он еще что-нибудь где-нибудь писал, но хоть режь его, хоть топи, не помнил, где, что и зачем.

Определенных музыкальных предпочтений у него никогда не было. Слышал что-то наше и не наше на чужих магнитофонах, какие-то хрипы, скрипы, металлический скрежет, визг и дребезжание. Криво ухмылялся и прочувственно замирал во дворе, в своем или чужом, когда какой-нибудь его сверстник выносил гитару и ныл что-то о безответной любви, о зоне, ворах, марухах и чувихах, о подлых ментах и несгибаемой братве. Он любил сильные голоса, хмурые взгляды, запах водки или винища из сплевывавших сквозь зубы оскаленных ртов, татуировки и вызывающую небрежность в одежде. Все это сливалось для него в один беззаботный, нищенский образ жизни, в котором важно было уметь крепко и безжалостно бить, не бояться угроз старших «пацанов», но и оказывать им ритуальное почтение, не стонать, не просить попусту, никому не доверять и всегда быть готовым схватить что-нибудь и тут же, даже не замечая следов, бежать сломя голову.

Однажды он с двумя хулиганистыми приятелями залез после какого-то Нового Года в детский сад и утащил мешок со сладостями, предназначенными детям на утренниках. Он впервые вкусил настоящих конфет, мандаринов и печенья. Мальчишки набивали рты сладостями и щедро раздаривали их во дворах. Их поймали, продержали день в милиции, дали по шее и поставили на учет. Но простили – дети все же! Голодные, почти беспризорные, одинокие. Однако мальчик Витя Раков запомнил на всю жизнь приторный вкус чужих подарков и даже понял, что, если их не взять самому, то никогда и не узнаешь, как живут другие дети в других семьях.

Один раз он попал с классом в театр. Шел спектакль о странных молодых женщинах, которых почему-то выселяли из большого и богатого дома, а они до слез переживали только за свой сад, не то вишневый, не то яблочный. Рак почти всю пьесу продремал, а когда очнулся, дал себе слово никогда больше не ловиться на обещания увидеть прекрасное в театре. Другое дело, найти тот сад и полакомиться фруктами. Тут он всецело разделял тоску героинь.

Летом мать отправляла его в костромскую деревню к дальним родственникам. Там было скучно, дети все считали его городским дурачком, переростком. Они смотрели на него с изумлением – вроде бы из столицы, а каков балбес! Там, в Москве, наверное, все такие. Он в одиночестве лазил по садам и воровал недозрелые яблоки, а потом сидел на берегу маленькой речушки, ручейном притоке Волги, и до боли в желудке грыз эту кислую и твердую зелень. Рак вспоминал о той пьесе и искренне удивлялся, какого дьявола героини жалели о своем дурацком саде.

Здесь, летом, он, будучи еще совсем юным, познал восторг плотской любви. Первой его интимной партнершей стала соседская девочка, бесцветная, глупенькая, не то пятнадцати лет, не то даже старше, но от того не умнее и не красивее. Они свалились в лопухи за огородом его родни и что-то там быстро и сопливо сделали. Рак потом в городе пересказывал приятелям этот случай, каждый раз, по мере повзросления, с новыми пошлыми подробностями. Его некоторое время даже зауважали за это. Но позже, когда и другие приобрели подобный опыт, стали посмеиваться. Он водил стаи возбужденных дружков на охоту за девчонками. Налетали, щупали, целовали, задирали им юбки, пытались что-то сотворить, а затем сочиняли друг перед другом сладкие истории. Но и это все постепенно прошло.

Единственное, что по-настоящему нравилось Вите Ракову, так это уроки физкультуры в школе. Их он никогда не прогуливал, чего не скажешь об остальных дисциплинах. Высокий,

сильный, правда, несколько грузный, он всегда стоял в голове строя. Распаренный и по-спортивному злой, носился по полю с мячом, остро, до слез, переживал неудачу, что лишь питало его силы, умножало природную мощь. Ему легко давалось всё, весь школьный курс физкультуры. Учитель, старый сутулый пьяница и ворчун, смотрел на него с откровенной симпатией, единственный из всех учителей школы. Более всего Ракову нравилась вольная борьба, но ее на занятиях не было. Как-то раз он, наконец, решившись, зашел в клуб при стадионе и, стесняясь себя самого, грубовато обратился к тренеру, к молодому темноволосому дагестанцу, с требованием принять его. Тот недоверчиво оглядел мальчишку с головы до ног и попросил, чтобы его в другой раз привели мать или отец, и еще, мол, следовало принести школьный дневник. Такие, дескать, правила приема. Но отца своего Рак никогда не знал, к матери обращаться было совершенно бессмысленно, а дневника он и не имел. Зачем он ему?

В секцию вольной борьбы он так и не попал. Но часто сидел во дворе клуба и наблюдал, как туда после школы идут со спортивными сумками многие, кого он знал по школе и по соседним дворам, а потом, усталые и возбужденные, выходят. Однажды он заметил мальчика из параллельного класса – невысокого, хоть и крепкого на вид, украинца. Он слышал, что их семья за год до того приехала будто бы из Винницы, отец служил в войсках. Мальчик был значительно ниже ростом Рака, серьезный, голубоглазый, немногословный. Рак остановил его и спросил, давно ли тот занимается борьбой. Мальчик ответил, что не больше месяца, но ему, мол, нравится. Тогда Рак обхватил его двумя руками, поднял в воздух и тут же брякнул о землю. Потом громко рассмеялся и, раскачиваясь, сплевывая, побрел со двора. Он несколько раз подлавливал мальчишку и бил его. Месяца через три это прекратилось. Мальчик неожиданно ловко вывернулся из крепких от природы рук высоченного Рака и на глазах нескольких своих приятелей согнул пополам, поставив, как принято у них говорить, в «партер». Потом вдруг потянул его на себя, оторвал от земли и перебросил огромное, тяжелое тело Рака себе за спину. Падение было настолько болезненным, что Рак почти месяц постанывал, когда приходилось быстро подняться на ноги или, наоборот, присесть. Больше он к клубу не подходил.

По окончании, с грехом пополам, восьмого класса он был зачислен в техническое училище на курс сантехники, а по окончании его сразу был отправлен на действительную службу в стройбат, где и пригодилась его специальность. В основном, он принимал участие в строительстве загородных домов и дач высшего командного состава. Служба прошла незаметно, под окрики военных прорабов, тычки старослужащих, выпивку и закуску из рук военных интендантов, а точнее аттестованных жуликов, наблюдавших за строительством генеральских дач и домов.

После демобилизации Ракова взяли на работу в строительно-монтажное управление по той же его сантехнической части. Он быстро женился, быстро развелся, опять женился, завел двоих детей, а потом после очередного тяжелого запоя отлупил жену и тещу, сломав последней ее излишне любопытный нос, и получил свой первый законный срок лишения свободы.

Дальше все пошло по накатанной не только им одним дорожке. В начале ее был лагерь, работа сантехником на алчное руководство этого лагеря и нескольких соседних (по обмену на осужденных поваров, столяров, паркетчиков, маляров, плиточников и слесарей), он и здесь ремонтировал им квартиры, дачки, тянул трубы, устанавливал мойки, унитазы и смесители. Освобождали его неохотно. Предложили даже задержаться на вольном найме. Он отказывался. Тогда пригрозили дать еще один срок. Первый, отбытый, был на три года, второй обещали еще, по крайней мере, на два. И дали бы, не найми его областной прокурор на строительство огромного барского дома для близкой подруги того прокурора – важной, полнотелой торговки из горпишторга.

Торговка пригрела Рака (его после первого срока уже так и прозвали). Прокурор узнал это слишком поздно, иначе вернул бы его в лагерь не на два года, а, может быть, на все пять

или даже восемь. Во всяком случае, он именно это орал, плюясь из старческой пасти в его раскормленную за полгода свободы наглую рожу.

Виктор Васильевич, осознав свою вину и понимая, что областной прокурор может причинить ему больше житейских неудобств, чем даже начальник лагеря, дал дёру, не успев получить последнюю плату за установку труб, толчков и моек в доме любвеобильной пышнотелой торгашки.

Его не прописали в родном городе (Москва все же! Столица!) и через год поймали на чердаке. После короткой, повторяющейся каждые три дня процедуры привода его в отделение милиции, ему как раз дали этот самый «чердак» на год общего режима. Там, в другом уже лагере, он работал так же, как в первом. После освобождения попросился куда-нибудь подальше от цивилизации, чтоб не мозолить глаза столичной власти, и уехал на Север, в Вологду. Здесь он проработал в ЖЭКе шесть или семь лет, вновь женился, зачал еще двоих детей, напился по поводу рождения второго, подрался, побил кого-то и получил уже третий срок.

Далеко его не повезли – в каждом лагере требовались мастера-сантехники. Его просто на куски рвали. И в прямом и в переносном смысле. Отсидел он на этот раз четыре с половиной года. Вышел условно-досрочно (на полгода раньше) и устроился работать в том же ЖЭКе, в том же районном городке. А тут пришел иск по алиментам от второй жены, на двух первых детей. И вновь – срок. Опять год, как за «чердак». Да еще добавили полгода неотбытых. Повезло лишь в том, что посадили зимой, а вышел летом. Только освободился, а тут и третья жена догнала с алиментами на двух вторых детей.

Отправили Рака «на химию» под Архангельск с обязательной выплатой двадцати процентов государству за что-то неотбытое или даром съеденное и еще двадцати пяти процентов по двум искам двух жен, на четырех детей. Самому Виктору Васильевичу ничего не оставалось. Даже на дешевое крепленое вино, не говоря уж о закуске. О водке и мечтать не смел.

Его поймали за кражу чего-то мелкого из уличного ларька. Выдали его подростки из местного училища по автослесарной специальности. Они сами ночами шустро шли по ларькам и посчитали пьяницу Рака своим незаконным конкурентом. Вот и сдали его милиции.

Тут чуть дело до признания Ракова рецидивистом не дошло. Но суд не сумел выстроить обвинение о повторе уголовных статей схожей правовой квалификации и, скрепя свое жестокое сердце, дал Виктору Васильевичу всего лишь семь лет строгого режима. Признай они его рецидивистом, схлопотал бы Рак свой «червонец», как миленький.

Семилетний срок он отбыл от звонка до звонка, как принято говорить в тех местах. На этот раз его к специальности не привлекали – стало подводить здоровье, дрожали руки, ослабло зрение, к тому же отстал, оказывается, от новой техники, пришедшей уже из-за далекой заграницы, да и сам не хотел больше «горбатиться на всякую сволочь». Это он так говорил, Виктор Васильевич Раков по кличке Рак. Еще в первую свою отсидку он ведь часто произносил в никуда: «раком всех итить...». И теперь он повторял это в ответ на любое распоряжение лагерного начальства.

За дерзость и за отказ от работ он часто отправлялся в ШИЗО, то есть в штрафной изолятор. Там его здоровье окончательно подорвалось. Даже открылся туберкулез, правда, в легкой, незаразной форме. Но он был непреклонен в своей оценке жизни в целом и тех, кто этой жизнью распоряжается.

Перед самым освобождением он подрался с наглым молодым кавказцем, разбойником, которого в тот же лагерь строгого режима привезли из Москвы. За кавказца заступились свои, а у Виктора Васильевича своих не оказалось. Ему дали еще два года, отправили в лагерь за почти три тысячи километров от этого, но на столь же строгий режим. Он попытался сбежать, но был пойман в тайге уже через пять часов, чуть собаки не загрызли. Рвали на нем сначала

одежду, затем мясо, а люди смотрели и ждали, когда он испустит дух. Но он выжил и тогда. Получил еще год за побег.

Там он и встретил свое пятидесятилетие. Полвека мытарств и боли.

Вышел, огляделся, а вокруг уже давно совсем другая страна. Ту, прежнюю, он пропил, проспал, просидел и забыл. Эта для него ничем лучше не стала. Только вот здоровья теперь поубавилось, специальности уж нет, нет и дома, нет и семьи. Решил Виктор Васильевич поехать к первым своим двум детям и попросить у них помощи. Немного, необременительной, на его взгляд, для них, но совершенно необходимой ему. Даже не угла просить, а обыкновенной поддержки в чем-то важном, что сможет дать ему кусок хлеба и какой-нибудь скромный кров. Он и сам не представлял, что это и как вообще возможно. Но ведь там уже выросли большие дети, им виднее, они грамотнее и счастливее его. Он ничего путного для них не сделал, даже когда-то сломал нос их бабке и побил мать, а потом еще и не платил алиментов, но все же это он их родил, ну, пусть не родил, пусть просто зачал, но ведь он! Без него их бы и не было на свете! И он был не сидел один лишний года за неуплату алиментов. К тому же, за это он честно отсидел.

До Москвы он уже почти добрался (зайцем на грузовых поездах, в тамбурах электричек, пешком и на случайных автобусах с непривычно милосердными водителями), а тут по дороге, в ближайшем столичном пригороде, увидел огромный барский дом за высоченной оградой. Рак вдруг почувствовал невероятно острый приступ голода. Не проберись он каким-то чудом в этот дом, непременно умер бы от голода в какой-нибудь грязной канаве. Холодные пельмени из кастрюли на кухне ему показались царским блюдом, тем более что он не только никогда не вкушал царских блюд, но даже и не знал, как они выглядят и чем пахнут.

Теперь Рак распластался на кафельном полу под дулом пистолетов и молил судьбу о том, чтобы его не искалечили и не выбросили в ту же канаву. Лучше бы сразу застрелили.

Но судьба решила все иначе.

Ей было любопытно понаблюдать за тем, как встретятся два пятидесятилетних, усталых человека, никогда друг друга не знавших, Барон и Рак, хозяин и вор, и как они ее поделят между собой.

Барон неподвижно сидел в кожаном ушастом кресле с широкими замшевыми подлокотниками и с фигурной подставкой под ноги, и внимательно, сквозь сухой прищур, разглядывал грязного, хмурого Рака, которого поставили перед ним метрах в пяти. Справа и слева от Рака замерли в напряженных позах оба охранника. В руках у одного из них по-прежнему холодно сиял серебристый пистолет, направленный длинным стволом в столбообразные ноги Рака.

На Бароне был одет короткий серый пиджак из штирийской шерсти с зелеными отворотами и воротником. Он любил этот австрийский стиль одежды, называемый там *Trachten*. Ему нравилась сама суть традиции и даже светское название подобного рода сюртуков и пиджаков – «альпийский смокинг». В Нижней Австрии, очень недалеко от Вены, у Георгия Ивановича был весьма небольшой теплый дом, в шкафах которого вывешено не менее полдюжины таких нарядов. Он знал, что эта одежда типична для приверженцев правого и ультраправого политического крыла Австрии. Штирийский костюм обыкновенного лесника, превратившийся когда-то в непрременную охотничью одежду австрийских принцев и королей, теперь олицетворяет исключительно националистические тенденции, что вызывает принципиальный протест в либеральных кругах той элегантной страны. Но именно это и доставляло ему удовольствие, как будто указывало на то, что национализм даже в своей крайней форме вполне может выглядеть пристойно, в высшей степени эстетично. Для исповедования его вовсе необязательно быть неотесанным грубияном или хамом. Альпийский смокинг тому тонкое доказательство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.